

Владимир Демьянов

СМЕШНОЕ В ФИЛОСОФИИ

Я понял, в чём ваша беда, – вы слишком серьёзны! Но умное лицо – ещё не признак ума, господа. Самые большие глупости на свете делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!
(Григорий Горин. Тот самый Мюнхгаузен)

«Физики шутят», «Музыканты шутят». Физики, кажется, дошутились даже до «Физики продолжают шутить». Все эти сборники имели колоссальный успех. Что же касается шуток философов, вспоминается разве что античный бестселлер Диогена Лаэртского. Весело писали Эразм Роттердамский, Вольтер, Ницше. Но в целом философы – народ тяжело серьёзный. В чём тут дело – в философах или в самой философии?

В пору повального увлечения русской интеллигенции марксизмом Владимир Галактионович Короленко как-то взялся написать рецензию на один из трудов по политэкономии. И уяснил себе, что предметом экономики как науки является не просто человек, а «экономический человек». От человека этот последний отличается тем, что имеет лишь два устремления: как можно больше «получать»; как можно меньше «вкальывать». Понятно, что «экономический человек» – абстракция от живой человеческой личности. Экономика как наука, изучающая экономическую деятельность человека, формулирующая понятия и законы, возможна потому, что редукция личности к формальным признакам осуществляется объективно, «на самом деле». Чтобы убедиться в этом, достаточно вступить в переговоры хотя бы с таксистом. Везти ему хочется поближе, а получить побольше. Как «экономический человек», всё личное он должен отставить в сторону. Формализм деятельности (её предметность, в конечном счёте) обязывает к формализации и самого деятеля, «агента» этой деятельности.

Как правило, согласовав с водителем предметно-экономические вопросы и усевшись рядом, чтобы ехать, с ним уже можно поговорить по-человечески, а не по-экономически. Тем самым обнаруживается условность и обратимость экономической формализации. Клинический случай, – когда человек начинает судить обо всём исходя из освоенного им предмета, из профессии, –

К. Маркс называл профессиональным кретинизмом. Тут уж не до шуток. Абстракциям чувство юмора не ведомо. Но нельзя сказать, что такой человек не смешон. Вот только сам он этого не сознаёт. Водитель может сказать, что «человек – это животное, способное управлять автомобилем». И как-то само собой понятно, что он пошутил. Не может ведь он не осознавать частичности, ограниченности своей профессии, её предмета, её нераспространенности на *всего* человека. «Человек – животное, производящее орудия труда», – это всерьёз способен сморозить только философ – «философский человек», до определённости своего предмета так и не дошедший. Водитель конституируется автомобилем. Чем конституируется философ?

Старый серый ослик Иа-Иа стоял один-одинёшенек в заросшем уголке леса, широко расставив ноги и свесив голову набок, и думал о Серьёзных Вещах. Иногда он грустно думал: «Почему?», а иногда: «По какой причине?», а иногда он думал даже так: «Какой же отсюда следует вывод?» И неудивительно, что порой он вообще переставал понимать, о чём же он, собственно, думает. (А. А. Милн. Винни-Пух и все-все-все)

«Над чем работают, о чём спорят философы», – так называлась целая серия книг, выпущенных в свет Издательством политической литературы (Москва), в просторечии именуемом «Политиздат». Вопросительный знак в заглавии серии отсутствовал, и потому не приходилось сомневаться, что философы Работают, что они Спорят. Ну уж раз они Спорят и Работают (что, впрочем, для философа одно и то же), то над чем? *Что*, – то самое, «над» чем и «о» котором... работают и спорят? Что это?

Всякая наука существует потому, что у неё есть Предмет. Её собственный. Никому иному принадлежать он не может. Предмет – нечто в высшей степени определённое, а благодаря этому и наука самоопределяется. Энтомология – наука о насекомых. Насекомое (предмет энтомологии) всегда можно отличить и от гриба, и от растения, и от скидки по дисконтной карточке. Спросите у энтомолога что-либо о законах Хаммурапи! – «Не мой предмет!» – гордо ответит он, т. е. различает.

Так над *чем* работают и о *чём* спорят философы? Спорят они совершенно безрезультатно, ибо никто из философов никогда никого не переспорил. Не переубедил. А вот *работают* — на

совесть, славно.

...Когда они дошли до речки и стали помогать друг другу перебираться по камушкам, а потом бок о бок пошли по узкой тропке между кустов, у них завязался Очень Умный Разговор. Пятачок говорил: «Понимаешь, Пух, что я хочу сказать?» А Пух говорил: «Я и сам так, Пятачок, думаю». Пятачок говорил: «Но с другой стороны, Пух, мы не должны забывать». А Пух отвечал: «Совершенно верно, Пятачок. Не понимаю, как я мог упустить это из виду».

Очень Умный Разговор не предметом конституируется. Где Пух и Пятачок собрались во имя её, там и Философия с ними. Т. е., чтобы была философия, достаточно наличия философов¹. Этьен Жильсон так и говорил: «Философия – это прежде всего философ» [1, с. 32].

Профессиональный комик не улыбнётся, даже если зал укатывается от хохота. Чем серьёзнее делает он своё дело, тем смешнее. Сварить яйцо, а потом высиживать его – просто глупость. Ну а если с серьёзным лицом? А ведь того же рода затея – сначала формализовать человека, а потом исходя из этой формы пытаться его понять. Глубинный комизм «экономического материализма» в том и состоит.

Искры юмора высекаются столкновением формы и смысла. Именно эта антиномия делает логически безупречной реплику или формально правильное действие смешными. Герой известного анекдота, изрядно захмелевший субъект, обойдя много-много раз тумбу для афиш, приходит к логически неузвимоу выводу: «Замуровали, гады!» Математически это рассуждение корректно. Потому и смешно.

Юмор позволяет испытать ограниченность всякой формы как весёлое переживание. Он даёт живое ощущение превосходства человека над какой бы то ни было формализацией, несводимость его к какой бы то ни было форме. Человек – всегда больше того, что он о себе знает. Человек – источник и условие возможности формы, а не наоборот – вот что очевидно, если есть чувство юмора. Ну а если чувства юмора нет? Если весь смысл усматривать в Форме? В жизни сторонники такого взгляда встречаются. Это – бюрократы. Законники. Эти не шутят. Но есть и философский эквивалент. «Философский человек» изобрёл гилеморфизм. Он означает, что с одной стороны, – «материя», нечто абсолютно бесформенное и способное лишь к непостижимо бессмысленному

существованию. С другой – форма, единственно только и способная наделять смыслом всё существующее. Таков Аристотель (IV в. до Р. Х.), осмысливавший с помощью этого нехитрого принципа всё Сущее. Но грек настолько уважал вещь, что позволял ей носить форму. С этой греческой расхлябанностью мог справиться только немецкий гений. В XVIII в. по Р. Х. нашёлся-таки человек, приведший гилеморфизм в порядок. Вещь была лишена формы и оставлена «как есть» (an sich). Право ношения формы (в себе и на себе) отныне признавалось исключительно за субъектом. Естественно, в нём же и весь смысл. Дело гилеморфизма живёт и побеждает: субъект обнаружил в себе и Форму форм («чистый разум»), и Перводвигатель (трансцендентальное «Я»). Ну как такому не самозаконодательствовать? Если он в форме, конечно.

Вещь!!! Всё дело в ней. Учитель Аристотеля Платон был к ней пренебрежителен, полагая, что сама по себе (или «в себе», если угодно) смысла она содержать не может. Его полемика с Протагором исполнена пафоса. Софист заявляет, что мера всех вещей – человек, а Платон уверен, что Бог. Увы, этому философскому спору суждено было разрешиться вовсе не так, как хотели бы Платон и Протагор. Прозаичный Аристотель заложил традицию, исключаящую такого рода патетику. Не Бог и не человек! Вещь – мера и Бога, и человека. Хайдеггер не даст соврать: «Слово “вещь” в словоупотреблении европейской метафизики именуется всё, что вообще и каким бы то ни было образом есть» [3, с. 323]. Но только не следует думать, будто этой констатацией Мартин пытался откреститься от вещизма. Напротив, это заповедь к гимну, посвящённому Вещи. Так Хайдеггер опус и называется: «Вещь». Но к этому ещё предстоит вернуться.

Карлсон злился всё больше и больше. – «Кому посчастливится поймать этот таинственный предмет...» – с горечью повторил он снова слова заметки. – «Предмет!» – выкрикнул он, окончательно выходя из себя. – Кто-то смеет обзывать меня предметом! Я этому гаду так врежу по переносице, что у него глаза на лоб полезут! (Астрид Линдгрен «Мальчи и Карлсон»)

Карлсона до глубины души оскорбляло, что его

отождествляют с предметом. Философы же веками произносили и писали: «Res cogitans», – имея в виду человека. «Вещь мыслящая»! У Канта даже Бог – вещь, только абсолютная, всем вещам вещь (прости ему, Господи!). Сама «реальность» – «вещественность», если перевести с латыни, от *res* происходит. Как же «философский человек» любит вещь! С кем бы его сравнить?

Кажется, в русской литературе самый комичный пример самозабвенной любви к вещи – чеховский Гаев. Вот его знаменитый монолог: «Да... Это вещь... (*ощупав шкаф*) Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твоё существование, которое вот уже более ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая (*сквозь слёзы*) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания». – Сказано не без *гаерства*. По крайней мере, лёгкий смешок в зале этот монолог всегда обеспечивает. На то «Вишнёвый сад» и комедия.

А вот трагедия: Ларисе Дмитриевне, бесприданнице, вдруг открывается, что ею торгуют как вещью. Пари на неё держат. «Вещь! Вот и найдено мне имя!..» И т. д. Жизнь теряет смысл, и Лариса Дмитриевна благодарит своего убийцу за смертельный выстрел: «Вы не знаете, что Вы для меня сделали!»

А ещё был вещелюб Плюшкин. Но это уже в жанре трагикомедии, когда не знаешь, плакать или смеяться. Во всяком случае, Гоголь резюмировал горестно: «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! Мог так измениться! И похоже это на правду? Всё похоже на правду, всё может стать с человеком».

Гоголь Хайдеггера не читал, но своим «всё может стать с человеком» как бы предвидел это: «Мы оставили позади себя претензию на всякую безусловную отвлечённость от вещи» [3, с. 325]. Читая его «Вещь», невозможно не ощутить патетическое фортиссимо: «Вещь веществует. Веществуя, она даёт пребыть земле и небу, божествам и смертным; давая им пребыть, вещь приводит этих четверых в их даях к взаимной близости» [3, с. 323]. Что тут сказать? – По меньшей мере, евангелие от Вещи. Причём с упованием на второе её пришествие: «Когда и каким образом придут вещи как вещи?» [3, с. 323] – спрашивал сам себя Хайдеггер, и

пророчествовал: «Сперва человек как смертный достигнет, обитая, мира как мира. Только то, что облечено миром, станет однажды вещью» [3, с. 326]. Это уже не комедия, не трагедия и не трагикомедия. Это – философия в её наивысшей точке, в апогее. Назвать человека вещью язык повернётся только у «философского человека». И только Философ без эмоций способен самоотождествиться с вещью.

Одна и та же вещь способна предстать разными предметами в зависимости от того, *кто* на неё взглянет. Шариковая ручка, которой я пишу эти строки, есть возможный предмет для физика или химика, для экономиста или историка. Но, имея всё же некую определённую и чувственную данность, не может стать предметом для орнитолога. Чтобы вещь стала абсолютной возможностью предметности, необходимо лишить её всякой формы. В математике это – «точка» или «нуль». В философии – «вещь-в-себе», т. е. «вещь вообще». Тогда актуализация всевозможности обернуться предметом – дело рук вопрошающего.

Если человек, будучи в здравом уме, вопрошает непосредственно к вещи, а не к тому, кто действительно может что-то ответить, – можно точно констатировать, что это человек науки («научный человек»). Полагаться на ответы других положено лишь на пути к науке, в учении. Учёный обязан говорить с самой вещью. При этом вопрошает он от имени всей своей науки, от имени всех тех, кто понимает её предмет одинаково. Определённость предмета – условие тождественности вопрошающих, кто бы ни вопрошал – субъект один. В науке предмет каким-то образом предызвестен.

Прочитав, к примеру, труды Аристотеля и Кьеркегора, Гегеля и Камю, прийти к определению предмета философии весьма затруднительно. Уж больно по-разному он видится авторам. А Марк Аврелий, а Карл Маркс? Что общего у Афин и Иерусалима? Общее, очевидно, одно: и Марк Аврелий, и Гегель – философы. И имеют дело с «предметом вообще».

Животное вопрошать не умеет. Бог – при Его-то всезнании – вопрошает риторически. Всерьёз, исходя из незнания, вопрошает только человек. У паука нет вопросов, как *быть* пауком. Он от рождения это «знает». Человек – *не* знает. Но *должен* знать. И потому весь он раскрывается в вопросах. Человек способен

вопрошать о чём угодно. Со стороны «чтойности» вопрошания он обеспечен тотально, но вопросы бывают и бессмысленные, и хамские, и подлые. Вопросом удостоверяется, *кто* есть вопрошающий.

«И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Быт., 3:1). Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, повествует Библия. *Знал* он, конечно, что запрет Божий касался только дерева познания добра и зла. Но как же искусить, не прикинувшись незнающим?

Адам, который сам же и нарёк имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, гносеологической ущемлённости не испытывал. Был только Божий запрет относительно плодов с дерева познания, и запрет этот был во благо: «...Не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть» (Быт., 3:3). Змей объявляет запрет ложным и своекорыстным: «...Нет, не умрёте; но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт., 3:5). Чтобы впасть во грех, надо было заподозрить своекорыстие Бога.

Подойдя к делу чисто эмпирически, Ева нашла, «что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз» (Быт., 3:6), и грехопадение совершилось. Человек обрёл смертность и прерогативу *самому* определять пределы познания. Первым делом Адам познал Еву. Прошло на Земле не так уж много поколений, и каждый начал *познавать* всех, кого попало. Кого только было возможно. И всемирный потоп стал неизбежен, ибо терпеть и дальше это «неограниченное сообщество коммуникации» Создатель уже не мог.

Предел познанию кладёт грех. Так обстояло дело с вопросом «что я могу знать?» для Адама в раю. Да и сейчас читать чужие письма непозволительно. Для Канта демаркационная линия между знанием и незнанием определяется по принципу «возможности–невозможности», «способности–неспособности». Т. е. вопрос можно решить, не ведая греха. Очевидно, потому, что он так и ставился.

«Что я могу знать?» – вопрошает Кант, и всякий сколько-нибудь знакомый с его творениями не может не ощутить риторичность вопроса. Знать позволительно всё, что только

возможно. Вообще, Кантово вопрошание, как правило, весьма специфично, что не преминул отметить Ницше: «Как *возможны* синтетические суждения a priori? – спросил себя Кант; и что же он, собственно, ответил? *В силу способности*: к сожалению, однако, не в трёх словах, а так обстоятельно, с таким достоинством и с таким избытком немецкого глубокомыслия и витиеватости, что люди пропустили мимо ушей весёлую немецкую глупость, скрытую в подобном ответе. <...> Но разве это ответ? Разве это объяснение? Разве это не есть скорее только повторение вопроса? Почему опиум действует снотворно? “В силу способности”, именно, “усыпляющей способности”, – отвечает известный врач у Мольера...» [2, с. 248–249].

Таков же вопрос «возможна ли метафизика как наука?» И такого же рода ответ. Прежде чем поставить вопрос, Кант *уже* знал, что: наука возможна лишь при наличии эмпирического базиса; метафизика, по определению, эмпирического базиса иметь не может. Вывести умозаключение из этих двух посылок способен любой школьник, даже не знакомый ещё с фигурами силлогизма, не то что профессор, десятилетиями преподававший логику. Стало быть, дело вовсе не в ответе, который заранее известен, а в вопросе, каковой Кант считал своим открытием. *Философы сочиняют вопросы к своим ответам.*

Когда фокусник у всех на глазах извлекает из шляпы кролика, у публики только один *вопрос*: как он спроворил его туда вложить? *Ответ* знает иллюзионист: ловкость рук — и дело в шляпе. С философом дело обстоит позанятнее. Ловкости рук никакой (ещё Эразм был уверен, что нет существа более неуклюжего), но своего кролика из шляпы достаёт. Правда, кролик «регулятивный» — «как если бы» кролик (als ob). Поэтому всё наоборот: публика не верит, а философ изумляется: честное трансцендентальное, никаких фокусов не проделывал, а вот поди ж ты — кролик в руках.

Говорят, мужчина интересен своим будущим, а женщина — своим прошлым. Примерно так же *наука* интересна будущими ответами, а *философия* — давними вопросами.

Если биолог всерьёз задаётся вопросом о том, что он вообще может знать, всё ли он о живом может знать, — это значит, ему нужно бросать биологию и переходить в философы, мудрить

над «методологией научного познания». В этом заповеднике комфорта полным-полно неудавшихся физиков, химиков и биологов, и их «ответы» так же помогают науке познавать, как изучение физиологии помогает переваривать пищу. Наука остаётся наукой, пока от знания о незнании («проблема») неудержимо рвётся к ликвидации всяческого незнания, не задумываясь над тем, возможно это или невозможно. Наука невозможна без презумпции познаваемости. Конечно же, без самосознания она не обходится, но вопрос о границах познания для всякой конкретной науки — это всего лишь вопрос о границах *eё* предмета. Наука как таковая гносеологически компетентна в сфере *предметности как таковой*. Иными словами, если бы науке вздумалось озадачиться вопросом «что я могу знать?» — это был бы вопрос о том, всё ли на свете можно обратить в предмет. А возможно ли, а не грех ли — спросит себя обыкновенный человек. Всюду ли позволительно совать нос? Но наука таким вопросом и не задаётся. Она простодушно совершает акт опредмечивания. И уж если удалось, то всё по Аристотелю: «Акт предшествует потенции». И вопросов нет — одни ответы.

«Что я могу знать?» — это вопрос не математика, а философа. Если вопрос предполагал *научный* ответ (вряд ли Кант хотел иного), то вот он: «Клянусь, что могу знать Предмет, только Предмет, и ничего, кроме Предмета». Думается, этот гносеологический императив достаточно категоричен.

Математик, собственно, и конструирует предмет (здесь Кант был прав: именно, «конструирует») с одной единственной целью: познать его (не любить же!). «Познаваем ли предмет?» — вопрос не более глубокомысленный, чем вопрос «может ли круг быть круглым?» Кантово «что я могу знать?» — это вопрос о том, всё ли на свете есть *предмет*. Неважно, сколько в предмете при всём при том априорного или апостериорного и сколь возможны синтетические суждения *a priori*. Быть или не быть предметом — вот в чём вопрос. Но как раз этого вопроса на сотнях исписанных Кантом страниц мы и не найдём. Не найдём именно потому, что ответ у него был прежде всякого вопроса.

«Как возможен Кант?» — на этот невозможный с первого взгляда вопрос, тем не менее, возможен исключительно трансцендентальный ответ. Не только Кант, но и всё кантианство

обитает в зоре между «предметом» и «вещью». Сие есть предел и иже не преjdeши. Дайте только вещь, а за Кантом дело не станет. «Вещь-в-себе означает для Канта: предмет в себе» [3, с. 323].

Вещь. Это она превыше всякого предмета. Это она, одна-единственная, наделена презумпцией непознаваемости. Мало того, ей октроирована привилегия быть «самой по себе», ради себя. Вещь, существующая сама в себе, есть нечто совершенно немислимое для христианина. Для него всякая вещь есть нечто сотворённое, и поэтому сама по себе, «в себе» быть не может. Без потусторонней философской помощи. Без философской любви к ней, без Эроса особой формации.

Читатель, любишь ли ты вещь так, как любил её Кант? Любишь ли ты «вещь-в-себе»? или в себе — вещь? Или себя в вещи?

И ни церковь, и ни кабаk —/ Ничего не свято.../ Нет, ребята, всё не так, /Всё не так, ребята! (Владимир Высоцкий. Моя цыганская)

Вера и философия отвечают на одни и те же вопросы. И потому дело не может обойтись без конкуренции. Весь вопрос в том, откуда черпаются ответы. Христианин и философ различаются тем, что первый верит в Свидетельство, «философский человек» конституируется неверием. Никому не верит. «Паниковский не обязан всему верить!»

Охочий до классификаций Аристотель давным-давно выяснил, что знание может происходить всего из трёх источников: опыта, рассуждения (дискурса) и свидетельства. Просто человек — «полноценный человек» — черпает знание из всех трёх источников и ко всем трём у него есть вопросы. «Научный человек» верит только в опыт (факты!) и собственную рассудительность. «Философский человек» исключительно рассуждает, причём самостоятельно. И вопросы задаёт сам себе. Человек — тотальный вопрос. «Философский человек» — это *отдельный* вопрос. Кант полагал, что главные вопросы следующие: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться?

Очередная «весёлая немецкая глупость» состоит в том, что вопросы эти вовсе не нужно решать, чтобы знать, *кто* их ставит. Это — вопросы человека, нанимающегося на работу. И не более того. Но, по замыслу «беспокойного старика Иммануила», они должны дать ответ на финальный вопрос: «Что есть человек?»

Говорил ведь ему дьявол за завтраком: «Вы, профессор, воля Ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над Вами потешаться будут».

Наёмнику вполне достаточно вопросов, которые задавал сам себе Иммануил Кант. Но наёмник, если использовать терминологию Хайдеггера, – «дефективный модус» человеческого бытия. А потому и вопрошает ограниченно, в пределах своей компетенции. Горизонт вопрошания сантехника – водопровод и канализация. Само бытие в этом дефективном модусе обеспечено неким «предзнанием» – знанием предмета, обеспечивающим пребывание в качестве профессионала.

Человек – не профессия, и знанием Предмета *человеческое* бытие не обеспечено. Человеческое вопрошание сверхпредметно. Чтобы *быть* человеком, насущно необходимо знать во всех модальностях. Не только «что я *могу* знать?», но, прежде всего, «что я *должен* знать?», и не менее важно «что я *смею* знать?».

«Ной начал возделывать землю, и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнажённым в шатре своём. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедши рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду, и, положивши её на плечи свои, пошли задом, и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего, и узнал чту сделал над ним меньший сын его; и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих» (Быт. 9:20–25).

Хам всего-навсего постарался сделать своё знание общезначимым, подключить сообщество коммуникации. Оказалось, это – грех. «Знать» и «делать» в человеческом бытии отнюдь не столь строго разделены, как в вопроснике Канта. Относительно знания Предмета никаких табу быть не может. Всесторонним знанием Предмета как раз и обеспечивается бытие в качестве наёмника, профессионала. Наготу отца, вполне вписывающуюся в трансцендентальные способности чувственного созерцания, по Канту, знать можно. Если пребываешь в модусе наёмника (врача, например). По-человечески – нельзя. Проклят будешь. Хамом станешь.

Когда философия была беременна наукой, Сократово «я знаю, что ничего не знаю», было и возвышенно, и трагично (смертный приговор ведь схлопотал). Но вот наука разделилась. Нет ни одного предмета, каковой не был бы достоянием какой-

либо конкретной науки. Что остаётся философии? — «Предмет вообще». Как таковой. Заниматься «предметом вообще» — это значит попытаться быть профессиональным человеком, «человеком вообще». Именно такой человек способен сочинить «Религию в пределах только разума» — ногу в пределах только протеза или телёнка в пределах только колбасы.

«Философский человек» — это старания вырастить дерево из телеграфного столба, это комичная попытка ответить на вопрос «что такое человек?», притворившись, будто «я» — никому не муж, не отец, а самое главное — не сын. Сам свой собственный мальчик. Попробовал бы Сократ брякнуть Ксантиппе: «Я знаю, что я ничего не знаю»! Эту максимум он мог провозглашать только *в качестве философа, человека «вообще», которого Диоген безуспешно искал днём с огнём.*

1. Жильсон Э. Томизм // Жильсон Э. Избр. – Т. 1. – М., СПб.: ЦГНИИ ИНИОН РАН, 2000. – 496 с.

2. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Соч. в 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т. 2. – С. 222–272.

3. Хайдеггер М. Вещь // Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С. 316–326.

¹ Дефиниции предмета философии принимаются по адресу: demyanov@elan-ua.net. Отвечу обязательно.